

производить одномерных людей тем только, что во всякую минуту жизни остаётся личностью. Иван Денисович Шухов соответствует идеальным представлениям писателя о качествах народного духа и ума, дающих надежду на его возрождение.

В тихом его сопротивлении насилию выразились с огромной впечатляющей силой те народные качества, что не считались столь уж необходимыми в пору громких социальных перемен. А. Солженицын вернул в литературу героя, в котором соединились терпение, разумность, расчётливая сноровистость и услужливость, умение приспособиться к нечеловеческим условиям, не потеряв лица, мудрое понимание и правых, и виноватых, привычка напряжённо думать «о времени и о себе».

В. Акаткин

ПО КОМ ЗВОНИТ РЕЛЬС...¹

До сих пор укором и болью отдаётся в груди тот самый прерывистый звон — молотком об рельс у штабного барака, что прозвенел в предрассветной мгле на одном из бесчисленных островков ГУЛАГа. И поныне зовёт он нас на большой всенародный сбор, побуждая выйти из своих «бараков» и взглянуть окрест на всё содеянное.

Но, может, не то и не так увидим мы, пока не отстоялись наши души от наваждений и помутнений, пока клубятся за порогом утопические туманы, пока не ударил большой колокол истины и не разогнал утренний свет греховное хищное воинство, со всех сторон обложившее нас боевыми отрядами?..

Повесть «Один день Ивана Денисовича», вроде бы такая тихая, сдержанная, будничная, взорвала непробиваемые и непроницаемые ворота ГУЛАГа, сорвала фальшивые радужные покровы с передовой страны социализма и показала нас самим себе во всей роковой неприглядности. Мир знал о многом и ранее (Иван Солоневич и другие ещё в 30-е годы рассказали кое-что о великом эксперименте), но теперь это был звон изнутри, «оттуда» — не торопливые слова раздосадованного, обиженного беглеца, а неспешная, сдержанная речь простого человека из-за колючей проволоки, которой нельзя не поверить.

Трудно, сложно, с бесчисленными вопросами и недоумением, с горючим стыдом, праведным гневом и восхищением читался тогда

¹ Филологические записки. 1998. № 11.

«Один день Ивана Денисовича». Как не похожа была эта повесть на всё, что мы вчера изучали в школе, а сегодня доучивали на студенческих скамьях!.. И книга какая-то несолидная, маленькая, в мягкой обложке, и фамилия автора непривычная, нелитературная, трудновыговариваемая — язык сломаешь, и сам он не из тех богов, чьи парадные портреты висят по стенам. Да и пишет он о том, о чём не говорилось на уроках, — о чём-то дальнем-дальнем, утаённом, нас не касающемся... Но как строго и печально глядит он на меня с обложки, словно предупреждая, что книга эта — только начало, только заявка на что-то ещё более суровое и грозное, от чего он нас пока бережёт...

Прочитав повесть до конца, сжав зубы, неожиданно восклицаешь: боже, как всё это напоминает нашу послевоенную деревенскую жизнь, всё, что было перед глазами дома, в колхозе, в окрестных сёлах! Но как же можно так открыто писать об этом?! Ведь это только мы сами, про себя, должны знать, как мы живём на самом деле, ведь такая правда не для большой литературы, призванной воспитывать на хороших примерах, учить, вести куда-то. А порой и такие мысли приходили на ум голодному студенту: у тебя, Иван Шухов, хотя бы хлеб ежедневный с мутной баландой был, а мы ведь и того нередко не имели, зубами щёлкали, зелёные пышки из травы-муравы, давясь, ели, опухали с голоду и прозрачными, смиренными делались. Колючей проволоки и вышек, правда, не было, но куда и зачем побежишь за околицу?

Я носился с этой книгой, словно с редкостной находкой, словно сам там побывал и всё-всё узнал из первых рук. Но постепенно стал понимать: а не всем она по вкусу и по нраву — не те картины, слова и запахи, какие-то там эскизы снуют, а не привычные помещики, разночинцы или комиссары; придумано, дескать, это всё, вытащено со свалки ради момента или потехи... Сытые, благополучные, на служебные верхи вознесённые морщились и нос воротили от этой книги, будто от общественного нужника. Не хотели признавать за своего Ивана Шухова, а ведь это вчерашний крепостной мужик шагнул на страницы повести, тот самый, об освобождении которого так мечтала русская классика. У него и другие родственники есть в стране победившего социализма — герои Шолохова, Платонова, Твардовского, в особенности Никита Моргунок вкупе с Василием Тёркиным.

Но у Солженицына всё по-другому, всё вниз пошло, тут новая мораль, новые нормы поведения куются — подневольные, лагерные, уголовные: без бога, без правды и справедливости, тут закон — тайга. И всем на всё плевать: начальству на эсков, а этим на начальство вместе со всем лагерем. И только одно государство — незримое, над-

мирное, чужое и жестокое — давит всех, кромсая правых и виноватых. И растекалась ядовитой лужей по всей России эта уголовная мораль — помесь нигилизма, анархизма и рабства, и заражала миллионы, в особенности молодёжь. Какое уж тут «перевоспитание», чем так гордился сам Горький и его подручные в книге об истории строительства Беломорско-Балтийского канала имени Сталина, изданной в 1934 г. Перевоспитание, конечно, происходило, только в обратную сторону. Всё тут на излом, навыворот, всё подчинено логике неволи. Но и воля была не лучше, по её же подобию лагеря устраивались.

Больно смотреть, как превращался из «властного звонкого морского офицера в малоподвижного осмотрительного зэка» кавторанг Буйновский. Но только этот, второй человек и мог тут выжить, а не первородный, настоящий Буйновский. Ибо настоящий, ходивший по морю и вокруг Европы, и Великим Северным путём, умер бы, но не взял лишнюю, незаконную порцию овсянки. А второй взял и рад. Так вот и ломался человек, ломался народ ведущей страны в лагере социализма. Интеллигенция здесь хотя и вместе с остальными за колючей проволокой сидит, да на другие работы ходит и на другом языке разговаривает: «<...> так редко русские слова попадают, слушать их — всё равно как латышей или румын»...

Обстоятельства здесь выше и сильнее человека, прямо-таки гора неодолимая, так придавили его, что он почти и не трепыхается. От подъёма до отбоя — всё через насилие, окрики, унижения, обыски, мордобой, угрозы сгноить в карцере. Только в работе слегка забывается человек, в ней зло отступает перед созиданием, правят усердие, смекалка и способности, а не дуло автомата. Хочет или нет Иван Денисович на волю, он и сам не знает. Тут ведь «дело привычное», а там вдруг ещё хуже будет? В своё время здорово ему попадало за это от бойких критиков, но они ведь не сидели с ним в лагере, доводы его им были неведомы. «Что тебе воля? На воле твоя последняя вера терниями заглохнет! Ты радуйся, что ты в тюрьме! Здесь тебе есть время о душе подумать!» — поучает его баптист Алёшка. И Шухов не противоречит. Действительно, всё на воле растеряли...

Повесть Солженицына привлекла внимание миллионов читателей прежде всего новым материалом. Но не только. В ней новая интонация, новый ритм повествования, новый язык. Материал этот, до каждой мелкой детали, подвергнут тонкой художественной обработке, в ней ничего лишнего, торопливо публицистического, нарочитого. Кроме того, не всё тут в материале. Повесть сильна своим подтекстом, намёками, умолчаниями, едва обозначенными выходами во всю нашу

жизнь, в национальную историю. Автор тут многолик и многоглаз, он видит всё и говорит от имени всех — начиная от Ивана Денисовича и кончая страной в целом. Тут не только отдельные, едва намеченные судьбы, но и парадоксы нашей истории, злоклучения страны, для которой идея всегда была выше человека, а если она не срабатывала, искали причину в отдельных людях, клеймили «врагов», «вредителей», «предателей». А виноваты по-настоящему мы сами, все до единого, потому что так или иначе клюнули на ложную идею...

На кафедре советской литературы, где духовно царствовал певец нового мира Маяковский, повесть Солженицына поначалу была встречена приветливо и слегка снисходительно: вещь всё-таки разрешённая, к тому же правда в ней частная, отошедшая в прошлое, с верного пути не сойдёт. На этой волне даже тему курсовой утвердили: дерзай, только особого значения не придавай и голову не сломай... Но вот когда вокруг Солженицына загремели настоящие бои, когда догадались, что «Одним днём» он на весь наш строй, вместе с Октябрём и колхозами, замахивается, — тут уж церемониться не стали: кафедра, мол, антисоветчиками не занимается... Настойчивость моя ни к чему не привела, научный руководитель напрочь от меня отказался.

И вот моя зелёная тетрабочка с библиографией, конспектами и юношескими рассуждениями о причинах культа личности отложена в сторону, до лучших времён. Позднее, когда я собрался писать диссертацию по Солженицыну, пришлось упрятать в стол, в укромное место, и небольшую книжечку в мягкой обложке, изданную в 1963 г. «Советским писателем» с предисловием Твардовского. А потом, когда компетентные органы всерьёз за дело взялись, пришлось зашить этот «компромат» в тряпицу, чтобы дети не увидали и не проговорились где-нибудь.

Однако имя Солженицына звучало повсюду: все, что он писал, выросло, как находящая гроза, которая и грянула с появлением «Архипелага ГУЛАГ». Изданную за кордоном и тайно доставленную в Союз, эту книгу читали невероятными темпами и дозами, сутками не смыкая режущих глаз, чтобы успеть в отпущенные сроки. Вместе с этой книгой ожил вновь и Шухов Иван Денисович, но теперь уже на фоне бескрайнего зла, поднятого со дна человеческого бытия неистовыми ревнителями перманентной революции. Все злодеяния режима автор терпеливо собрал и переплавил в своё гневное слово, потому что свято верил: достаточно назвать зло — и оно будет побеждено. Разрушая одну утопию, писатель начинал создавать другую. Иван Денисович был мудрее.

Наследие Солженицына ещё не изучено. Придёт время — и его поставят в один ряд с великими протестантами российской истории, которым выпал жребий разрушения, но почти не оставлено сил и средств на созидание. Тяжкая это роль. Героическая, жертвенная, но опасная, потому что приходится постоянно иметь дело со злом, выискивать и преувеличивать его масштабы, чтобы оно не осталось незамеченным, и, напротив, невольно обходить и умалять добро, представлять его наивным и слабосильным. Преимущественно борясь со злом, постепенно свыкаешься с ним как с неизбежностью, и уже каким-то случайным, незаконным кажется добро. В духовной жизни России критический пафос стал преобладающим, зёрна отрицания проросли повсюду, забывая всходы добра. Вот так наша страна — нормальная, как и все другие, стала «империей зла», какой-то чёрной дырой на карте, ей уже нет места среди остальных государств.

Как только Солженицын почувствовал край этой бездны отрицания, он со всей истовостью стал искать последние скрепы, на которых удержится Российское государство. Он обратился к провинции, к земству, к религии и монархии, к правде и совести. Не поздно ли? Красное (или какое там ещё?) колесо разрушения раскрутилось так, что остановить его, рук не поломав, невозможно. Кто отважится? Кто в горящую избу войдёт? Или снова проболтаем, пока всё погорит, и разойдёмся по своим баракам до очередного удара об рельс? По ком же он звонил в предрассветной холодной мгле?

Не только по замученным и убиенным, но и по всем нам, загнанным за колючую проволоку. Звонил по всем призванным одолеть зло...

О. Алейников

**ОСОБЕННОСТИ ПОДЦЕНЗУРНОГО ПОВЕСТВОВАНИЯ:
«ЗАПИСКИ ИЗ МЁРТВОГО ДОМА» Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
И «ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА»
А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА¹**

Рассыпанные по главам «Архипелага ГУЛАГ» ссылки на жизненный и творческий опыт создателя «Записок из Мёртвого дома» обособывают линию анализа: уместно сопоставление текстов двух писателей — параллельное обращение к «опыту художественного исследования», «особым заметкам о погибшем народе». Нельзя не заметить у

¹ Филологические записки. 1998. № 11.